

ИРИНА ШАМАНАЕВА



СТРАННЫЙ ВЕК
ФРЕДЕРИКА
ДЕКАРТА

Ирина Шаманаева

Странный век Фредерика Декарта

«ЛитРес: Самиздат»

2017

Шаманаева И.

Странный век Фредерика Декарта / И. Шаманаева — «ЛитРес: Самиздат», 2017

Действие романа охватывает период с начала 1830-х годов до начала XX века. В центре – судьба вымышленного французского историка, приблизившегося больше, чем другие его современники, к идее истории как реконструкции прошлого, а не как описания событий. Главный герой, Фредерик Декарт, потомок гугенотов из Ла-Рошели и волей случая однофамилец великого французского философа, с юности мечтает быть только ученым. Сосредоточившись на этой цели, он делает успешную научную карьеру. Но затем он оказывается втянут в события политической и общественной жизни Франции. После череды серьезных испытаний и личных катастроф он оставляет академическую науку, возвращается в Ла-Рошель и неожиданно для самого себя находит новый смысл жизни совсем в других делах.

© Шаманаева И., 2017

© ЛитРес: Самиздат, 2017

Содержание

Пролог	6
Призвание	14
Страшный год	23
Конец ознакомительного фрагмента.	27

Странный век Фредерика Декарта

*Воспоминания Мишеля Декарта,
написанные им для профессора
Коллеж де Франс Жана-Мари Оксеруа.*

Ла-Рошель, июнь 1952 г.

Мое имя – Мишель Декарт, мне семьдесят шесть лет. За вычетом четырех лет, что я был на войне, всю жизнь я прожил в этом самом доме номер 14 по улице Монкальм в Ла-Рошели, департамент Приморская Шаранта, старинный регион Пуату–Шаранта. До войны я служил управляющим типографии, потом на паях купил ее, и лишь недавно удалился от дел, уступив свою долю сыну. За всю жизнь я перемарал достаточно бумаги, хоть все это были чужие мысли, чужие слова.

Теперь попробую подыскать свои... Ваша просьба, профессор, тронула меня сильнее, чем я дал вам понять во время нашей встречи. Рад, что вас не обескуражил мой сдержанный прием. Что поделаешь, я провинциал до мозга костей. Я упрям, недоверчив и, в конце концов, уже немолод. Больше всего на свете я ценю предсказуемость смены времен года, рутину дней, постоянство убеждений, незыблемость обычаев. Когда мне предлагают сделать что-то, ломающее привычную последовательность дел, я машинально говорю «нет», хотя потом почти всегда об этом жалею.

Надеюсь, вы не держите обиды на старика, для которого перейти оживленную улицу – уже событие. Признаюсь еще кое в чем. Сначала я не принял вас всерьез. Очень уж вы не похожи на университетских профессоров времен моей юности. В назначенный час я ждал вас, стоя у окна. И когда вы подъехали на новеньком «рено», бойко выскочили из-за руля и направились к дому, помахивая спортивной сумкой, чуть только не подпрыгивая от нетерпения, я немного опешил. Честно сказать, даже понадеялся, что мой гость профессор Оксеруа где-то задерживается, а это просто заблудившийся турист ищет дорогу на пляж. Потом-то я понял, что тот, ради кого вы сюда приехали, скорее узнал бы в вас человека одной крови.

Сын и невестка держат в домашнем погребе бутылку сухого мартини, но я недолюбиваю эту американскую моду. Не без умысла я предложил вам наш старомодный аперитив Пино де Шарант – местное вино, крепленное коньяком. И я рад, что вы согласились отведать напиток, от которого обычно морщатся ваши утонченные парижане. Фредерик Декарт, доктор филологии, историк, писатель, автор многократно переизданных в наше время трудов по истории Франции, ваш предшественник по Коллеж де Франс и мой родной дядя, пил его каждый день, а это о чем-то да говорит. Может быть, теперь вы сумеете понять его чуть лучше?

Пролог

Легко ли иметь среди родственников знаменитость? Легко ли быть тем самым неприметным фоном, субстратом без лица и имени, на котором неожиданно для всех расцветает большой талант? До сих пор я об этом не думал. Прошло сорок пять лет после смерти профессора Декарта, из них лет двадцать, как он стал знаменит, но научная пресса нас все эти годы почти не беспокоила. Я читал его фундаментальную биографию авторства Шомелена и Берто, статьи о нем в научных журналах, предисловия к переизданиям его книг и пытался определить, какими источниками пользовались авторы. Очевидно – почти исключительно парижскими. И панегирики, и пасквилы питались одним архивом и одним кладезем сплетен. Еще до войны со мной списался молодой магистр из Абердина, но его интересовали комментарии только к одному эпизоду из жизни профессора Декарта, и я отказался их дать. Я увидел в его вопросах сильнейшую предубежденность и не стал его разочаровывать. Все равно напишет то, во что уверился. Он и написал.

Вам я сказал «да», потому что вы поняли главное – без Ла-Рошели не было бы и Фредерика Декарта.

Вы сказали, что почему-то не верите в его хрестоматийный образ, со страниц его собственных сочинений личность автора предстает совершенно другой. Этот голос интуиции, это чувство правды не завалить батареей уже написанных томов. Именно они заставили вас посетить город, который был его истоком, а потом стал бухтой, в которую он привел свою побитую флотилию. В поисках свидетелей вы стали наводить справки о ныне живущих родственниках профессора и нашли меня. Когда Фредерик умер (пусть вас не коробит эта фамильярность, при жизни я его называл по имени и на «ты»), мне было тридцать лет. Шестнадцать из них мы прожили в одном городе. Конечно, мне есть что вспомнить. Я уже сам об этом думал... Увы, я не получил хорошего образования, толком оценить его идеи, без которых нет выдающегося историка, и понять, почему они опередили свое время, все равно не сумею. Вы предложили мне лучший вариант: не нырять в недоступные глубины, а просто рассказать, ничего не утаивая, каким человеком он был.

Его биография содержит немало таких фактов, которые при поверхностном знакомстве соблазняют вылепить из него трагическую фигуру – не то Иова Многострадального на пепелище, не то даже короля Лира. Некоторые ваши предшественники не устояли. Но это все неправда. Он прожил счастливую жизнь, ровно такую, какую хотел и какую сотворил сам. Это путь не для всех, ну так и он – не вы, не я, не Жюль Мишле, не Ипполит Тэн и даже не Эдгар Кинэ¹, с которым у него больше общего, чем с любым другим историком XIX века. При такой насыщенности событиями, обилии крутых поворотов, неудач и потерь, это все-таки была жизнь, скроенная по его мерке, и в старости он ни о чем не пожалел.

В начале тридцатых годов нашего века, как раз в канун столетия со дня рождения, он был объявлен предшественником метода «тотальной истории»² и вошел в моду. Труд об истории французской Реформации – на мой дилетантский взгляд, самая скучная из его книг – ныне почти не упоминается отдельно от эпитетов «классический» и «образцовый». Его большой талант теперь признают все. Изредка проскакивает и слово «гений», только это явная натяжка, сам он прекрасно знал, где пределы и в чем уязвимость открытого им метода. И вот здесь-то исследователей подстерегает еще один соблазн. Обстоятельства его удивительной, неординарной жизни порой мешают объективно разобраться в его научных заслугах. Профессор Декарт гением не был, однако редкое бесстрашие и независимость, свойственные ему и в науке, и в частной жизни, вполне подошли бы гению.

В науке он сразу же пошел собственным путем, что, безусловно, ставят ему в плюс. В жизни эти качества тоже часто уводили его с магистральной дороги. И вот тут уже приходилось платить репутацией, не раз и не два – очень дорого платить. Он игнорировал любое «так принято», если не видел в нем смысла. Например, в пору антигерманской истерии взял и уехал на год в Германию для продолжения научных исследований. Вы, конечно, знаете, что после прусской войны профессор Декарт предстал перед судом и был выслан из Франции как германский шпион. Через долгих восемь лет его полностью реабилитировали, и абсурдность этого обвинения сегодня вызывала бы только смех, если бы мы так хорошо не помнили о деле Дрейфуса³... Как ни странно, поговорка про дым без огня до сих пор кое-кому не дает покоя.

Еще, я думаю, вам известно, что у него был внебрачный сын, с которым он общался, но жили они в разных странах, официально профессор Декарт его так и не признал, и тот всю жизнь носил фамилию мужа своей матери. В академической биографии на эту тему нет ни слова. Видимо, авторы боялись разрушить сусальный образ человека, отказавшегося от брака и семьи и отдавшего всего себя науке. Я расскажу, как все было на самом деле, в свой черед, а сейчас замечу только одно. Когда я написал, что он прожил счастливую жизнь, я имел в виду и то, что принято называть личным счастьем. Наверное, счастье он тоже понимал нестандартно. Но любовь, привязанности, дружба – все это у профессора Декарта было, он этим очень дорожил и совсем не походил на романтического героя, разрушителя чужих жизней и разбивателя сердец.

Вы также, наверное, читали, что профессор Декарт обладал трудным характером, был неуживчив, легко ссорился с людьми, много пил и этим будто бы погубил свою академическую карьеру. Еще считается, что у него было несчастливое детство, суровая и холодная мать, равнодушный отец, и поэтому он просто обязан был с юных лет иметь неустойчивую психику, страдать депрессиями, нервными срывами и много чем еще, вплоть до сексуальных проблем. Так легко и приятно стало объяснять все по Фрейду! Отрицать не стану, у него случались депрессии, порой он надолго впадал в хандру и «милым» уж точно не был, хотя за свою долгую жизнь я не знал человека добрее. Талант всегда угловат, неудобен, требователен. На правах ближайших родственников мы так или иначе временами оказывались вовлечены в его проблемы. Но не в том была суть наших отношений, и я на него не в обиде за те редкие дни, когда он бывал невыносим.

Противоречивая фигура? Да нет, на мой взгляд, цельная и самодостаточная. А вот тем, кто не знал его при жизни, вечно хочется подогнать его под какой-нибудь знакомый шаблон. Может быть, и вы станете сопротивляться правде и без симпатии к герою не захотите писать его биографию. Но, возможно, вы тоже увидите красоту духа, пробившуюся сквозь все его человеческие несовершенства, которую так ясно вижу я. Знаете, однажды ему задали глупый вопрос, верит ли он в науку, и он ответил: «Верю я лишь в Непостижимое; обо всем остальном я хочу знать, как это было и есть на самом деле». Так неужели правде о себе он предпочел бы выдумки?

* * *

Начну сначала, то есть издалека. Хотя фамилия Декарт знаменита во Франции, к великому философу и математику семнадцатого века наш род никакого отношения не имеет. Все наши ближайшие предки – выходцы из Германии. В семье, правда, из поколения в поколение передавалась память о происхождении рода Карتنенов (это наша настоящая фамилия) от французского беженца-гугенота. В отличие от многих других гугенотских семей в Германии, которые твердо помнили о своем происхождении и заботились о чистоте крови, в нашей семье с самого начала браки заключались не только внутри своей среды. Поэтому к концу XVIII века Картены стали уже больше немцами, чем французами. Но память о предках-гугенотах жила, и

мой дед Иоганн Картен наполнил семейную легенду, так сказать, плотью и кровью. В библиотеке при реформатской часовне Реколетт в Ла-Рошели до сих пор хранится переплетенный в телячью кожу старинный молитвенник. Приступая к обязанностям пастора, дед разбирал библиотеку и нашел в этом молитвеннике письмо. Оно было отправлено из деревни на прусской границе в 1685 году – вскоре после отмены Нантского эдикта⁴. Семья гугенотов, не пожелавшая переходить в католичество или тайно исповедовать двоеверие, сообщала в Ла-Рошель своему родственнику, что с Божьей помощью они добрались до земли, где им дали убежище и приняли их с братской любовью. Были в письме и стихи, наивный трогательный гимн во славу Отца, и Сына, и Святого Духа. В подписи легко читалось: «Антуан Декарт, ваш брат во Христе».

Письмо, дошедшее в те кровавые дни до адресата, чудом сохранившееся, не истлевшее за полтора века, не сгоревшее в кострах контрреформации и революции! Когда Фредерик Декарт писал магистерскую диссертацию о поэтах-гугенотах, он очень тщательно исследовал этот документ, нашел в архивах упоминание о некоем религиозно-мистическом братстве, в котором состоял Антуан Декарт, и выяснил, что интересные стихотворные эпитафии на уцелевших надгробиях гугенотских семей были написаны именно этим человеком. По профессии он был врачом, но помимо этого обладал некоторой литературной одаренностью. Когда гугеноты оказались во Франции вне закона, он бежал в немецкие земли с женой, двумя сыновьями и тремя дочерьми. Следы семьи терялись в деревне Мариендорф, и больше никаких упоминаний о Декартах найти до 1907 года не удавалось. Зато первые упоминания о наших предках Картенах прослеживаются с начала XVIII века, и появление их в Бранденбурге словно бы из ниоткуда само по себе наводит на определенные мысли – именно туда в то время массово ехали гугеноты по приглашению Великого курфюрста⁵ Фридриха Вильгельма Гогенцоллерна. Нет ничего невероятного в предположении, что Антуан Декарт решил слегка онемечить свою фамилию и выбрал этот вариант. К тому же все Картены испокон веку были кальвинистами, как гугеноты, а не лютеранами, как коренное население Бранденбурга. Не правда ли, есть соблазн считать тезис доказанным? Профессор Декарт говорил, что мы вполне можем считать себя потомками беженцев из Франции. Но оснований называть Антуана Декарта своим предком он не видел. Скорее уж, допускал, что и во Франции Картены были Картенами – чтобы онемечиться, им достаточно было перенести ударение с последнего на первый слог.

Дед Фредерика, Михаэль Картен, был доктором богословия, преподавал в Берлинском университете и служил пастором в реформатской церкви города Потсдама. Фредерик помнил его приезды в Ла-Рошель и рассказывал, что это был человек крайне вспыльчивый, не терпящий возражений. Дети слушались его до седых волос. Первенец, Иоганн, не чувствовал никакой тяги к богословию, мечтал о факультете естественной истории, но, так как доктор Картен слышать не желал о том, что его сын «будет ловить бабочек», покорился и тащил ненавистную ношу. Кое-как он получил степень магистра богословия, а вместе с ней – тяжелое нервное расстройство. Доктор Картен решил пока не давить на сына и отпустил его отдохнуть и развеяться во Францию. Пастор написал на адрес реформатского прихода Ла-Рошели и получил письмо от единоверцев. Малочисленная община потомков гугенотов ответила доктору Картену очень любезно, а староста обещал подыскать для Иоганна недорогой пансион и присмотреть за молодым человеком в чужом, полном соблазнов городе.

В Ла-Рошели Иоганн Картен пришелся ко двору. По-французски он говорил, как настоящий француз, изучал Кювье и Ламарка, декламировал на домашних вечеринках французских поэтов-романтиков, даже если его просили прочесть что-нибудь из Шиллера. Он горячо любил Францию, считал ее единственной в мире цивилизованной страной. В старинный город на берегу океана, выбеленный солнцем и продутый ветрами до такой степени, что в некоторые дни при подходящей погоде его дома казались призрачными, Иоганн Картен влюбился с первого взгляда и, недолго думая, решил здесь остаться. По рекомендации членов гугенотской общины он обзавелся учениками и стал давать уроки естествознания и немецкого языка.

Молодой Иоганн Картен, по воспоминаниям его детей, был умен и обаятелен, и вскоре его приглашали уже не только в гугенотские дома. Наружностью он тоже обладал счастливой, если верить сохранившемуся дагерротипу. Лицо с крупными правильными чертами, красиво вырезанный рот, волнистые черные волосы, серые глаза... Местные девушки наперебой домогались его внимания. Он тоже не был к ним жесток. Расточая комплименты местным красавицам, он всерьез думал о том, чтобы жениться и начать преподавать в школе. С другой стороны, мечта о Парижском университете по-прежнему манила его.

И тут внезапно умер пастор гугенотской общины. Не знаю, почему члены консистории предложили именно Иоганну стать новым пастором, мне трудно поверить, что среди них не нашлось более подходящего человека. В Бога этот несостоявшийся натуралист едва ли верил. Конечно, вращаясь в среде благочестивых гугенотов, свои взгляды он не афишировал. Когда его избрали в один из церковных комитетов, не возражал, тем более что его сделали хранителем библиотеки. Но пастор!.. Нет, нет и нет! Иоганн отказался, напирая на свой молодой возраст и недостаточный опыт. Доктор Картен в Потсдаме быстро обо всем узнал (не он ли подкинул консистории эту идею?) и вызвал сына домой очень суровым письмом. Из Бранденбурга Иоганн приехал через три месяца, присмиривший и... женатый. Родители, желая крепче привязать сына к пасторской службе и раз и навсегда отбить желание поступать по-своему, нашли ему невесту, девушку из потсдамской реформатской семьи – Амалию Шендельс, дочь аптекаря. Молодым людям не позволили даже немного привыкнуть друг к другу, их сразу обвенчали и отправили в Ла-Рошель. Иоганн принял пасторскую кафедру, купил старый, запущенный, но большой и красивый дом на улице Монкальм, недалеко от старого города. Потом случилась та история с молитвенником и письмом, о которой я уже рассказывал, и мой дед принял фамилию Декарт, немного созвучную его немецкой фамилии, чтобы окончательно закрепить свое превращение из немца во француза. Близкие друзья стали называть его Жан-Мишель.

В положенный срок у молодой четы родилась дочь Мюриэль. Еще через два года, восьмого января 1833-го, на свет появился сын, которого называли Фредериком.

Жан-Мишель сначала ненавидел свою жену. Потом, поразмыслив, решил использовать женитьбу, чтобы освободиться от родительской власти. Он позволил Амалии (теперь для него и для всех – Амели) командовать домом и детьми, а во всем остальном обеспечил себе полную свободу. Церковные обязанности оказались не очень обременительными. Община была совсем невелика, и, хотя он добросовестно совершал богослужения и таинства, проводил заседания консистории, обеспечивал занятия в воскресной школе и заботился о престарелых прихожанах, времени оставалось еще много. Он тратил его на книги, на ежевечерний стаканчик местного вина, на рыбную ловлю и охоту в Пуатевенских болотах, на коллекции бабочек и растений. Нравиться женщинам он тоже не перестал, и они ему нравились. Судя по тому, что у Амели после Фредерика десять лет не прибавлялось детей, женой он пренебрегал (только позднее отношения супругов более или менее наладились, и Амели родила близнецов – Максимилиана, моего будущего отца, и Шарлотту). Жан-Мишель жил так, как ему хотелось, и я не стану его за это строго судить. Жена забрала дом в свои руки и вела его безупречно, имея в распоряжении лишь няню да приходящую прислугу *à tout faire*⁶. Убирала и готовила сама, держа всю семью в черном теле. Фредерик и мой отец вспоминали, как мальчишками вечно ходили голодными и по ночам таскали из кухни хлеб. Воспитательница из бабушки Амели тоже, видимо, была аховая. Неласковая, раздражительная, щедрая только на подзатыльники и тычки, исполненная ледяного презрения к «этим французам», убежденная в непогрешимости своих суждений, правил, методов воспитания. Трудно представить менее подходящую мать для этих детей, оказавшихся натурами восприимчивыми и тонко чувствующими, в отца, каким бы он стал, если бы его не сломали.

Отец долгое время был равнодушен к детям от нелюбимой женщины и насильственного брака. Он их едва замечал. Лишь когда Фредерику исполнилось шесть лет и вскоре ему пред-

стояло пойти в школу, отец обнаружил, что мальчик почти не говорит по-французски (это была семейная политика матери – общаться дома только на немецком языке). Надо было срочно что-то решать: в государственной школе без языка ему было делать нечего, на домашних учителей пасторского жалования не хватало, а отправить сына учиться в Потсдам или Берлин, как хотела Амели, Жан-Мишель отказался наотрез.

Тогда отец нанял для Фредерика и Мюриэль за небольшую плату «гувернера», бывшего учителя, уволенного за пьянство, и предупредил жену: если она хоть словом, хоть взглядом намекнет «лягушатнику», что его присутствие в доме ей не по нраву, он тотчас отправит ее обратно в Потсдам, а детей заберет себе. Она притихла. Мсье Блондо совершенно опустился, иногда приходил на уроки в сюртуке на голое тело и, забывшись, расстегивал пуговицы, а во время занятий рассеянно отпивал из фляжки, которая всегда была у него под рукой. Но дело свое он знал. Фредерик и Мюриэль за один год научились бойко говорить, читать и писать по-французски. Жан-Мишель разрешил сыну играть с приятелями-французами (прежде у Фредерика не было друзей, общаться с ровесниками он мог только во время нечастых приездов кузенов Картенов или Шендельсов) и стал брать мальчика то в церковь по будням (по воскресеньям они, конечно, ходили туда всей семьей), где во время церковных совещаний он разглядывал старые французские книги и слушал правильную французскую речь, то в походы за травами для гербария, то на рыбную ловлю в залив. Мюриэль, которая уже училась в школе, тоже, когда могла, становилась постоянной спутницей этих вылазок. Не избалованные лаской и вниманием дети потянулись к отцу. Тот оттаял, как будто наконец признал их своими. Правда, он слишком дорожил покоем и не стал устраивать дома революций. Но вне дома, как мог, пытался скрасить сыну и дочери жизнь.

Старшие дети были очень дружны между собой. Защищали друг друга от гнева матери, делились мыслями, поверяли огорчения и радости. Само собой, шалили, и не всегда безобидно. Однажды в Ла-Рошель в очередной раз приехал доктор Картен и после богослужения в присутствии всей семьи грубо отчитал Жана-Мишеля за «глупейшую, беспомощную, беззубую, а местами просто вредную проповедь». Фредерик и Мюриэль решили отомстить. Их любимого отца не смел оскорблять никто, тем более – дед, с которым они были едва знакомы, и знакомство отнюдь не было приятным! Утром, собираясь на вокзал, старый пастор нашел свои туфли намертво приклеенными к полу в прихожей. Когда их попытались оторвать, затрещали подметки. Клей не имел ни цвета, ни запаха, ничего похожего в доме не водилось, так что, хотя подозрение сразу пало на Фредерика, доказательств не было. Где он взял или как приготовил эту адскую смесь – осталось тайной. Сошлись на малоубедительной версии, что на пол пролилась какая-то непонятная жидкость (это в сияющем чистотой доме Амели!). А доктор Картен уехал на вокзал в полном пасторском облачении и домашних войлочных туфлях.

Сестра и брат понемногу выросли. Мюриэль обещала вырасти красавицей. Зато Фредерик был очень похож на отца, но не унаследовал его красоты. Так бывает. Вроде все то же самое – и серые глаза, и темные волосы, а гармонии нет и в помине. Нос крупнее, подбородок тяжелее, губы тоньше и суше, невыразительные светлые ресницы вместо отцовских черных, и уже не Аполлон. У Мюриэль глаза были как дымчатый хрусталь, у Фредерика – словно хмурое декабрьское небо. (Впрочем, фотография, запечатлевшая его в тридцатитрехлетнем возрасте, дает основание думать, что в те годы он был хорош собой.) Но волосы обоим достались роскошные, густые и волнистые. Дядя сохранил их до глубокой старости, даже поседел довольно поздно. А мой отец пошел в блондинов Шендельсов и начал лысеть уже к пятидесяти годам.

Разлад родителей и холодность матери отметили собой характер Фредерика. В чем-то кальвинистское воспитание придавило его навсегда. На протяжении почти всей жизни он не умел откровенничать, делиться своими переживаниями, боялся, что его отвергнут или посмеются. Только под старость немного смягчился и приоткрыл тайны, которые в более молодые годы строго оберегал. Такой душевный склад порождает огромное количество невротиков. Но

Фредерику повезло. Кроме всего этого у него были рано проявившийся талант, ум, отточенный в одиноких размышлениях, фантастическое трудолюбие, привитое (правильнее было бы сказать – вбитое) матерью. История дала ему ощущение свободы. В иных временах он чувствовал себя как дома, с людьми из прошлого он был самим собой.

Он мог бы вырасти и отвергнуть религию, возненавидеть ее за безрадостное детство, но этого не случилось. Сын неудавшегося натуралиста вырос верующим человеком и всю жизнь старался придерживаться строгой религиозной дисциплины. Его творчество, если посмотреть под этим углом, очень сублимировано, особенно наиболее личная и откровенная из книг – «История моих заблуждений». Замкнутому и впечатлительному мальчику одно время даже была близка религиозная экзальтация, почти не свойственная протестантам. На склоне лет он мне рассказал, что в юности подумывал вступить в какой-нибудь протестантский орден, но все-таки его призвание было в другом, он это чувствовал.

На улице и в школе, а потом в лицее имени адмирала Колиньи он по большей части выглядел обычным мальчишкой. Иногда дрался, хоть и не любил это занятие, учился по одним предметам отлично, по другим никак (на седьмом десятке лет в письме к сыну он «пожалел о каждом уроке математики, который прогулял или пробездельничал»!), бегал в порт встречать корабли из далеких стран, пахнувшие чаем и корицей. Играл с приятелями в «осаду Ла-Рошели» в старых бастионах. Покупал на сэкономленную пару сантимов горсть печеных каштанов прямо с огня. Лазил по скалам (до своего злополучного военного ранения он был искусным альпинистом), учился ходить под парусом, ловил устриц и макрель. Обычный набор детских радостей тех счастливых, которые родились и выросли у теплого моря, мало меняющийся от поколения к поколению – так же росли и мы с братом, и мои дети, и сейчас растут мои внуки. Фредерик был разве что заметно серьезнее своих ровесников и переживал всё иначе – как будто не играл, а жил по-настоящему и умирал по-настоящему.

Любил он и одиночество – даже больше, чем игры. Ему не скучно было наедине с собой. Если реальность ничем не увлекала, он воскрешал в своем воображении другие миры, представляя в мельчайших деталях жизнь людей, скажем, в древних Афинах или в средневековом итальянском герцогстве. Ему было интересно не только героическое в истории, но и самое простое – как люди выглядели, чем зарабатывали на жизнь, чему учились в школе, что ели и во что одевались, как относились к событиям, объявленным позднее историческими. А главное – как они думали, чем отличалось их сознание от сознания его современников. Любознательный подросток хотел все это знать и набрасывался не только на труды историков, но и на художественную литературу того времени и тщательно просеивал контекст, собирая по крупинкам драгоценные факты.

Доступных книг было мало. Однажды граф де Жанетон, влиятельный гугенот, богач и меценат, владелец крупнейшего книжного собрания в городе, попросил шестнадцатилетнего Фредерика позаниматься с его внуком немецким языком и щедро оплатил уроки, а кроме этого разрешил рыться в его библиотеке сколько душе угодно. Фредерик потом всю жизнь считал этого человека своим главным благодетелем. Деньги были ему нужны – мать не давала взрослому сыну ни сантима. Но возможность дорваться до книг он расценил как ни с чем не сравнимое счастье. Позже граф поручил Фредерику за отдельную плату навести порядок в шкафу с предметом его особой гордости – «гугенотским фондом», редчайшими изданиями шестнадцатого и семнадцатого веков. В шкафу царил такой кавардак, что граф и сам не знал толком, чем он владеет. Нужно было составить кроме алфавитного тематический каталог и снабдить карточки краткими аннотациями. За эту каторжную работу юноша взялся с радостью и сделал ее так хорошо, что граф потом употребил все свое влияние в совете протестантских церквей юга и запада Франции, чтобы сын пастора Декарта получил стипендию для учебы в Парижском университете.

В семнадцать лет Фредерик влюбился в свою дальнюю родственницу Элизу Шендельс, чьи родители не так давно переехали в Ла-Рошель. О ней стоит рассказать подробнее. Всю жизнь, как мне кажется, его привлекал именно тот женский тип, который воплощала собой Элиза. Она была красива простодушной красотой жительницы немецкого городского предместья, такая Гретель или Рапунцель, как будто вышедшая из сказок братьев Гримм. У нее были пышные рыжие волосы, фарфоровая кожа, чуть тронутая румянцем, безмятежные голубые глаза. Она вся словно светилась изнутри. Красота Элизы была такой уютной, что каждый, кто оказывался рядом, испытывал на себе ее одновременно девическое и материнское обаяние. Фредерик в ее присутствии едва мог дышать. Девушка обо всем догадывалась и, хотя не принимала своего юного кузена всерьез, очень хотела, чтобы он сказал ей те самые слова. Но он так и не объяснился. Она ждала, ободряюще улыбалась, болтала о пустяках, чтобы он расслабился, а молодой человек вместо этого все глубже уходил в себя и мечтал, чтобы ему выпал случай доказать Элизе свою любовь на деле. К примеру, вынести ее из горящего дома, удержать, если она сорвется со скалы, спасти ее, тонущую в бурном Бискайском заливе. Но, как назло, дом Шендельсов не горел, гулять в опасные места Элиза не ходила, а купалась только в мелком озере.

Фредерик понимал, что у него нет никаких шансов. Элиза была старше его на год, смешно было надеяться, что она согласится ждать, пока он окончит лицей и университет. В том же году мадемуазель Шендельс вышла замуж. Фредерик был на свадьбе вместе с матерью – двоюродной сестрой Элизино отца. В кармане у него лежал подарок, венецианское зеркальце в серебряной оправе, купленное в антикварной лавке на деньги, заработанные у графа де Жанетона. Единственное, на что хватило мужества, – отозвать Элизу на минутку из столовой в коридор и отдать ей подарок. Фредерик вытерпел ее родственный поцелуй в щеку и сразу ушел, стараясь не попадаться на глаза матери. К счастью, молодая семья очень скоро уехала из Ла-Рошели, и больше с Элизой Фредерик никогда не встречался.

На следующий год семью Декартов постигло настоящее горе. Сначала Фредерик лишился самого близкого друга – старшей сестры Мюриэль. Обстоятельства ее смерти были в семье долгие годы покрыты тайной. Бабушка Амели никогда не упоминала имени старшей дочери. Мой отец и тетя Шарлотта могли лишь догадываться по туманным намекам о том, что случилось что-то скандальное, – они тогда были еще детьми, и подробности дела от них тщательно скрывали. Только Фредерик понимал, что произошло. Двухнадцатилетняя Мюриэль, одна из первых красавиц Ла-Рошели, была просватана за приятного и скромного юношу из гугенотской семьи. Брак устроили родители, ее желания не спросили (говоря между нами, Жан-Мишель мог бы постараться ее понять, но почему-то не захотел). Она же влюбилась в какого-то неподходящего молодого человека, католика и бедняка, отказала жениху и ушла жить, невенчанная, со своим любимым Дидье. В том году на Бискайском побережье стояла на редкость суровая поздняя осень с пронизывающим ветром и ледяными дождями. Через два месяца жизни в убогом домишке Дидье Мюриэль заболела воспалением легких и умерла.

Амели обезумела от горя. Эта женщина, такая черствая по отношению к сыну, к дочери иногда испытывала что-то похожее на нежность. Госпожа Декарт побежала к Дидье, голося на весь квартал, что он проклятое католическое отродье и убийца ее дочери. Муж и сын кое-как привезли ее домой и уложили в постель. На похоронах Мюриэль не было ни матери – она лежала в забытье после инъекции морфина, ни брата – Фредерик закрылся в ее комнате и плакал по-детски, навзрыд, ни Дидье – он вышел в море на легкой лодочке и случайно ли, преднамеренно ли – кто знает? – направил ее в опасное место при почти штормовой волне и разбился о скалы.

Через два месяца от болезни сердца скончался Жан-Мишель Декарт. Было ему всего сорок восемь лет. Сразу после похорон отца Фредерик слег с сильнейшей нервной горячкой.

Старухи на городском рынке и в кофейнях шушукались о том, что после двух покойников подряд не миновать этой семье и третьего. Другие им возражали, говорили, что после Мюриэль и Дидье третий как раз пастор Декарт. От этой болтовни мать перепугалась не на шутку. Как ни считай, а Фредерику ничего не помогало – ни хинные порошки, ни обертывания, ни другие снадобья. Почти месяц он лежал пластом, страшно исхудал и в восемнадцать лет весил не больше тринадцатилетнего подростка. Что произошло потом, объяснить никто не мог: то ли медикаменты наконец подействовали, то ли перевозбужденный мозг отдохнул и дал команду к выздоровлению, но загадочно начавшаяся болезнь так же загадочно и отступила.

Едва опасность миновала, Амели Декарт не позволила сыну вернуться в лицей, хотя ему оставалось полгода до выпуска. Фредерик сильно отстал в учебе, особенно по нелюбимым предметам, и врач заявил, что умственное перенапряжение вызовет рецидив, а тогда он уже ни за что не сможет поручиться. Его оставили в выпускном классе еще на год, а пока мать выхлопотала досрочные каникулы и отправила его до августа в свой родной Бранденбург. Красота совсем другой страны, не похожей на его родину, милые патриархальные нравы родственников, заботы тети Адели, дружба с кузеном Эберхардом, невинный флирт с одной девушкой, чье имя Фредерик Декарт не забыл и в старости – Аннелиза, чуть-чуть не Элиза, – и, конечно, молодость взяли свое. Он полностью выздоровел и теперь уже считал дни до возвращения в лицей, чтобы скорее окончить его, уехать в Париж и начать самостоятельной жизнью...

Призвание

...Дождь не прекращается уже третий день. С утра чуть-чуть прояснилось, и я вышел пройтись по Ботаническому саду. Обычно по центральной аллее снуют матери и няни с детьми, торговцы развозят на тележках мороженое, студенты представляют для туристов живые статуи Ришелье, Генриха Четвертого или принца Конде. Но сегодня было тихо. Только слышалось то тут, то там, как на землю падают недозрелые каштаны. Я прогуливался по парку и вспоминал рассказы дяди и отца о детстве в родном городе. В этом самом парке юный Фредерик познакомился с мальчиком, который скоро стал его лучшим другом, с испанцем по имени Алонсо Диас. Отец Алонсо, моряк из города Виго, когда-то решил навсегда бросить якорь в ла-рошельской гавани. Он женился на бывшей прихожанке гугенотской церкви, которая приняла католичество. Жан-Мишель Декарт ворчал, если Фредерик просил разрешения пойти к Алонсо, но это была скорее дань приличиям и социальной роли, которую он был вынужден играть. Как вы помните, пастором он стал не по призванию и в душе был убежден, что различий между католичеством и реформатством гораздо меньше, чем между любой религией и современной наукой. Так что Фредерик после школы беспрепятственно играл с Алонсо и часто бывал у него дома, где на стол за обедом ставили кувшин напитка из разбавленного вина с мелко нарезанными фруктами с красивым названием «сангрия» (маленького пуританина немного шокировало, что его другу родители тоже наливали стакан). После обеда Мануэль Диас брал гитару и хриплым голосом пел баллады о жестоких маврах и неприступных красавицах Кастилии. Фредерик оказался очень восприимчив к иностранным языкам (может быть, из-за двуязычия, которое его окружало с раннего детства) и скоро стал все понимать. Во взрослые годы он помимо двух родных языков – французского и немецкого – из живых языков свободно говорил по-английски и немного хуже – по-испански.

Но я зачем-то вернулся назад, хотя детство Фредерика давно было позади. Начались годы студенчества.

В Париже ему пришлось нелегко. Стипендия, назначенная церковью, оказалась очень скромной. Помощи ждать было неоткуда – мать с младшими братом и сестрой кое-как вела дом и оплачивала детям школу на свою вдовью пенсию, рассчитывая, что старший сын скоро сам начнет ей помогать. Небольшое наследство после смерти доктора Картена из Потсдама (пережившего сына всего на год) лежало в неприкосновенности на самый черный день. Бабушка Амели скорее сшила бы Максу и Шарлотте тетрадки из старых счетов с чистой оборотной стороной, чем потратила бы из этого наследства хотя бы пфенниг на текущие расходы.

В университете Фредерик очень скоро стал одним из самых блестящих студентов. Это получилось не само собой. Он проводил куда больше времени в архивах и библиотеках, чем на студенческих пирушках, и, по его собственным словам, с живыми людьми общался в те годы реже, чем с мертвыми. Магистерскую диссертацию он написал о поэтах-гугенотах, а жизнь и творчество одного из них, Гийома Дю Барта, стали темой небольшого эссе, которое Фредерик представил на соискание академической премии. Он получил эту премию, оказавшись на голову выше своих конкурентов, и с этого момента о нем заговорили в научных кругах.

Жил он в пансионе для студентов реформатского вероисповедания, который содержали немолодой священник и его жена. Полуказарменный-полумонастырский распорядок этого заведения мало подходил тем, кто шел в университет за радостями студенческой жизни. Но Фредерик ведь был сыном Амалии Шендельс: он и не почувствовал никаких особенных притеснений. Привычка к дисциплине и методичному труду давно стала его второй натурой. Он умел делить свои интересы на главные и второстепенные и, если времени на все не хватало,

вычеркивал второстепенное недрогнувшей рукой. Когда он не пропадал в библиотеках, то бегал по частным урокам или писал для колонки исторических курьезов в «Меркюр де Франс». Иногда он ходил в театры и на концерты. Веселых компаний не чурался, но времени на них тратил гораздо меньше, чем это обычно делают вырвавшиеся из родительского дома двадцатилетние юноши.

Что касается дел сердечных, они не числились в «главном». Здесь он, по собственному позднему признанию, отставал от товарищей. Фредерик до сих пор не мог забыть Элизу. Безнадежность своей любви он прекрасно сознавал. Но находить доступных девиц ему мешали робость и какое-то врожденное целомудрие. Он знал, что при своих честолюбивых планах ни в коем случае не должен жениться рано, и хранить невинность неизвестно докуда, конечно, не собирался. Однако и навязчивого стремления ее лишиться у него не было. Он не хотел, чтобы это произошло как попало и с кем попало. В результате «это» случилось с ним только в двадцать два года на третьем курсе университета, причем довольно неожиданно.

В их студенческой компании была одна девушка, чья-то сестра или кузина, дочь профессора химии из Политехнической школы. Звали ее Колетт Лефевр. Все приятели Фредерика были в нее немного влюблены. Колетт никого не выделяла, держала себя с ними ровно и по-товарищески. Так же вела она себя и с молодым Декартом, но очень быстро сложилось, что они стали проводить друг с другом много времени. Вместе обедали в дешевом студенческом кафе, вместе бродили по Лувру и Люксембургскому саду, вместе ходили к букинистам на набережную Сены и радовались, как дети, если удавалось прочесть что-нибудь, не покупая, быстро-быстро пролистывая страницы. Колетт даже иногда по воскресеньям ходила с Фредериком в протестантскую церковь Троицы на бульваре Клиши, поскучать, как она говорила, и скромно сидела там в уголке.

Эта дружба длилась довольно долго. Однажды в летний день в субботу разразился ливень с грозой. Фредерик остался в пансионе. Он с удовольствием «бездельничал» – читал какой-то модный роман. Обычно на беллетристику времени у него не оставалось. Вдруг распахнулась дверь, и в комнату влетела совершенно мокрая Колетт. Дождь застиг ее недалеко от пансиона. Женщин туда не пускали, но швейцар пожалел девушку и разрешил ей зайти обогреться. Молодой человек опешил, увидев ее на пороге своей комнаты, но потом заметил, в каком она состоянии. Он начал хлопотать: отдал Колетт все свои полотенца, зажег спиртовку, чтобы сварить ей кофе. Колетт сидела, опустив руки, и с нее текла вода. Фредерик неумело расстегнул на ней платье, чтобы вытереть мокрую спину. Неожиданно мадемуазель Лефевр обвила руками его шею и поцеловала – не по-дружески, а по-настоящему.

Они стали любовниками. У Колетт он был, конечно, не первым и, как он скоро убедился, не единственным. Вот здесь я должен остановиться и сказать о Фредерике очень важную вещь. Возможно, сам он был в отношениях скорее разрушителем, чем созидателем, не по злой воле, а просто потому, что своим временем, которое можно было потратить на работу, дорожил больше. Но за женщинами, которые ему нравились, он признавал ровно те же права разлюбить и уйти. Ему была почти не свойственна ревность. Никогда до конца не уверенный в себе и в своей мужской привлекательности, он был благодарен всем женщинам, удостоившим его вниманием, и принимал как должное, когда им начинало чего-то не хватать и они от него уходили. Они обычно тоже не держали обид, если уходил он сам. Все это будет позже... А пока в его жизни разворачивался сюжет, достойный современной лирической комедии из жизни студентов. Фредерик очень привязался к Колетт. Она была остроумна, смела и свободолюбива. Рядом с ней как будто отступали все его многочисленные заботы. Он чувствовал себя не бедным студентом, вынужденным много трудиться, нет, он был молод, верил в свои силы, и все испытания, которые сулило будущее, были ему нипочем. Когда они гуляли по Большим бульварам или сидели на галерке Одеона и ее рука пряталась в его руке, он таял от нежности.

Их отношения с перерывами тянулись почти два года. Потом Колетт вышла замуж за молодого, но перспективного политика (позднее, при Третьей республике, Менье-Сюлли несколько раз получал министерский портфель). Фредерик искренне пожелал счастья своей подруге: ведь сам он жениться пока не собирался, да и понимал, что профессор Политехнической школы не выдаст дочь за студента без состояния и гарантированной карьеры, будь он хоть трижды талантлив и умен.

Спустя некоторое время после свадьбы Колетт предприняла попытку возобновить их близкие отношения. Фредерик не сразу понял ее намеки, а когда до него наконец дошло, от смущения он чуть не провалился сквозь землю. Но смутился вовсе не потому, что оскорблена была его пуританская мораль, которая однозначно не допускала связи с замужней женщиной. Представьте себе, нет. Он беспокоился, что Колетт теперь сочтет его ханжой, а сама будет чувствовать себя с ним как блудница перед фарисеем из-за своей нелепой идеи, которая неизвестно почему пришла ей в голову. Он всю жизнь страдал от этой раздвоенности: сам придерживался правил, в которых был воспитан (и если ему приходилось от них отступать, долго потом себя морально казнил), но очень тщательно подбирал слова, боясь обидеть других людей своим кальвинистским нравственным ригоризмом. Колетт прекрасно его поняла и обратила все в шутку. Друзьями они остались на всю жизнь. Ее имя в моих записках вы не раз еще встретите.

После окончания магистратуры Фредерик должен был остаться в университете – некий именитый профессор брал его к себе на кафедру истории средних веков. Будущее казалось двадцатипятилетнему магистру Декарту ясным и предсказуемым, избранный путь должен был вести его только вперед и вверх, к собственным курсам, книгам, академическим наградам. Каково же было его разочарование, когда профессор под надуманным предлогом взял свое обещание назад! Истинные причины оказались банальнее некуда. Молодой ученый, не искушенный в интригах, умудрился нажить слишком много врагов. Магистерская диссертация, которую заметил и высоко оценил сам великий Мишле, статьи в научных журналах, разработанные курсы по истории XVI–XVII веков и по литературе Реформации, сочинение о «Гептамероне» Маргариты Наваррской, удостоенное большой золотой академической медали, – все это делало магистра Декарта слишком опасным конкурентом для тех, кто занимал свои места в университете без должных заслуг. Материалы, представленные к докторской диссертации, ученый совет признал слабыми и недостаточными, а поскольку защита откладывалась, место было отдано другому претенденту. Фредерик поступил на государственную службу по ведомству просвещения и был направлен учителем в крошечный городок Морьяк в Оверни, в глубине Центрального массива. И друзья, и недруги думали, что оттуда он уже не вернется. Провинция ломала еще и не таких.

Два года, проведенные в Морьяке, год в Ла-Рошели и возвращение в Париж – может быть, самая большая победа Фредерика Декарта. Никакой умственной жизни в Морьяке не было. Люди там пили, ели, спали, женились, рожали детей, производили вино, торговали, сплетничали. И больше ничего. Улицы были узенькие и тихие, как кладбищенские аллеи. За стеклами окон лежала коричневая пыль. Городок был зажат в горах, воздух там казался душным, глаза постоянно упирались в какую-нибудь стену. Дети в школе говорили на диалекте, которого Фредерик сначала вообще не понимал. Первое время, засыпая, он надеялся, что утром проснется и опять увидит свою милую сердцу полупустую комнату пансиона окнами на университетский сад. Но будили его лай собак, блеянье овец да выкрики пьяных возле кабака на площади. Он вставал, аккуратно заправлял кровать, ополаскивал тепловатой водой лицо и руки, надевал штопанный-перештопанный парижский сюртук и в ожидании, пока придет хозяйка и швырнет

ему на стол завтрак (никакого уважения к «господину учителю», платящему за комнату всего три франка в неделю, у нее не было), зажигал свечу и с тяжелым вздохом садился за книги...

У меня нет сомнений, что девять из десяти оказавшихся на месте магистра Декарта не выдержали бы, спились. Или женились бы на какой-нибудь хорошенькой и свежей местной девице и зажили, как все. Он тоже едва не сломался. В Морьяке у него развилась клаустрофобия, ему постоянно не хватало воздуха. Он тосковал по океанскому простору, чистой линии горизонта, соленому ветру, порту, в котором день и ночь кипела жизнь. И по общине единоверцев, потому что в этом полностью католическом городе Фредерик был единственным протестантом. Эту проблему, впрочем, он решил довольно легко – стал по воскресеньям ездить в Клермон-Ферран, где была реформатская община и проводились богослужения. Отсутствие умственного труда, находок, открытий и, главное, людей, с которыми можно было обо всем этом говорить, – вот что стало для него самым страшным ударом. Здесь были только уроки французской истории детям лавочников и зажиточных крестьян, комната окнами на торговую площадь, унылые вечера, беспокойные сны и чувство, что все было напрасно, а жизнь, толком не успев начаться, сразу закончилась.

Но прошло несколько месяцев, и Фредерик «проснулся». Может быть, это история протестантской общины в Клермон-Ферране подбросила ему сюжет для размышлений. Он совершил почти невозможное, он буквально схватил себя за волосы, как герой одной немецкой сказки, и вытащил из болота. Сначала без желания Фредерик доставал свои записи и сидел над ними вечер за вечером, вымучивая мысль за мыслью – банальные, плоские, ничтожные. Но все же не сдавался. И вдруг заметил, что работа его снова захватывает, а за небольшим сюжетом брезжит интереснейшая тема. Скоро его было уже не узнать. Все вечера и свободные от уроков дни он проводил в библиотеках и архивах ближайших к Морьяку городов. За эти два года он успел собрать и обработать массу данных о событиях реформации и контрреформации в центральной Франции и на юго-западе, и они вошли в его фундаментальную работу об истории реформации во Франции.

Дело продвигалось медленно, но все-таки шло вперед. Ни на что другое, кроме уроков и научной работы, он своего времени не тратил, не бывал на учительских вечеринках и пикниках, не ходил в гости к коллегам, не заглядывал в питейные заведения, не ухаживал за девушками. Добродушные овернцы объясняли его чудачества тем, что он протестант, да еще и «парижанин». Впрочем, его не трогали, только втайне посмеивались и ждали, что «станет постарше – дурь сама пройдет». Ах, если бы они знали, чем жил этот серьезный, застегнутый на все пуговицы молодой человек! Хозяйка, наверное, сплетничала, сколько почты из Парижа получает ее странный жилец: и обычных писем, и бандеролей, а то и целых ящиков, набитых книгами. Магистр Декарт активно публиковал результаты своих исследований в научных журналах и переписывался с теми людьми из университетских кругов, которые сохранили к нему интерес. Пасхальные и летние каникулы проводил не дома, а в Париже – конечно, за работой. Только на Рождество приезжал в Ла-Рошель, к матери.

Награда ждала его там, где он и не думал ее найти. Магистр Декарт начал получать удовольствие от своей учительской работы. У него обнаружился талант говорить о сложном просто и понятно, но не лапидарно, объяснять логично и вместе с тем образно. Сыновья крестьян и лавочников на уроках смотрели на него, будто загипнотизированные, – такого они еще не слышали ни от кого и никогда. История из чего-то скучного, мертвого, безнадежно далекого превращалась в наполненный лицами и голосами, бесконечно разнообразный, увлекательный и при этом подчиненный строгим закономерностям круговорот жизни. История начинала иметь прямое отношение к ним самим. Даже безнадежные двоечники впервые пытались размышлять о личной, семейной и сословной чести, когда Фредерик давал им такую, например, тему сочинения: ««Герцогом быть не могу, бароном не хочу, я – Роган». А ты кто такой и почему этим гордишься?» Фредерик был строгим учителем и не щадил бездельников. Но даже самый

маленький проблеск любознательности у этих мальчиков вызывал в нем сильнейшее встречное движение – помочь, ободрить, не дать им утратить интерес к вещам и явлениям, знание которых не имело прямого отношения к их физической жизни и едва ли непосредственно помогло бы выручить больше денег за овощи и птицу на осенней ярмарке. У него определенно было призвание. Только оно и помогло ему продержаться в Морьяке целых два года.

Наверное, он продержался бы и больше, тем более что его исследование событий реформации и контрреформации в этом регионе было еще не закончено. Но его мать, брат и сестра бедствовали в Ла-Рошели, и он попросил перевода в родной город.

Пока он учился в Париже, мать почти не интересовалась его делами. Он, занятый своими заботами, тоже мало думал о том, как живет его семья. Фредерик знал, что мать нуждается, и с первого студенческого года содержал себя сам, а потом начал помогать – сначала крошечными суммами, потом, по мере роста заработков, все больше и больше. Но он не имел понятия, в каком душевном состоянии находилась госпожа Декарт. Амели была не из тех, кто жалуется. Между тем все было очень плохо.

В отличие от покойного пастора, его вдову в гугенотской общине не любили за надменность, замкнутость и тяжелый немецкий акцент. Все друзья Жана-Мишеля сразу после его похорон куда-то исчезли, и Амели осталась совсем одна. Только граф де Жанетон из уважения к Фредерику подходил к бывшей пасторше после богослужений, беседовал с ней, оказывал ей мелкие благодеяния – договаривался о бесплатных школьных обедах для Макса и Шарлотты, присылал им книги и билеты на концерты, словом, делал то, что она могла принять без ущерба для гордости. Амели никогда не любила ни Францию, ни французов, но терпела, стиснув зубы, – убежденная кальвинистка твердо знала, что на земле ей легкой жизни никто не обещал. И только когда их дом на улице Монкальм заново оценили и обложили гораздо более высоким налогом, чем раньше (видимо, кто-то позарился на земельный участок в хорошем районе), Амели сдалась. Она объявила старшему сыну, что продаст дом и выделит ему долю, а сама вместе с младшими детьми уедет в Потсдам.

Фредерик месяцами не бывал в Ла-Рошели, если приезжал, то лишь по родственному долгу. Казалось, место, где он родился, ничего уже для него не значит. Но от этого известия у него потемнело в глазах. С бумагой о переводе в лицей Колиньи и со всеми своими небольшими сбережениями он сел на поезд. Позже он корил себя за это, называл тщеславным дураком: «Я помчался спасать родовое гнездо, пыжась от самодовольства, что могу это сделать. Ни на секунду я не допустил мысли – а может, правильно было помочь матери повыгоднее продать этот дом и дать ей уехать обратно в Бранденбург, где она была бы счастливее?»

Дом был спасен, удалось даже слегка отремонтировать жилые комнаты, поменять прохудившиеся водосточные желоба и заново замостить дорожку от ворот до крыльца. Но в нежилой половине, куда вел отдельный вход, поселился запах тления. Фредерик расчистил себе там большую комнату с террасой, бывшую гостевую. Терраса выходила на запущенный уголок сада, и плети дикого винограда, свисавшие с крыши, наполняли его душу умиротворением. В Морьяке он так устал от своей тесной комнаты с низким потолком, что здесь упивался простором и свободой. После уроков он первые недели часами бродил по улицам, а то и просто брал плед, уходил к океану и лежал на берегу, читая или глядя на воду и на небо. Океан, скалы, пески, тростниковые заросли, старый маяк в порту и деревья, роняющие листья на чисто вымытую дождями мостовую, – от всего этого сладко замирало сердце. Знакомые места располагали к созерцательности.

После Морьяка служба в лицее Колиньи показалась ему синекурой. И он снова убедился, что может и любит учить. Дети в классах сидели совсем другие, многие были умны и развиты не по годам и плохих учителей раскусывали на раз-два. Но эти умники и спорщики тоже смотрели на него во все глаза и наперебой тянули руки, чтобы поразмышлять над его вопросами.

Авторитет Максимилиана, который учился в этом же лицее, тут же вырос на порядок. Если старший брат после уроков дожидался его и они вместе шли домой, Максусу казалось, что к его ногам привязали каучуковые шарики, и они сами подбрасывают его вверх на каждом шаге. Иногда Фредерик шел не домой, а в порт, где его друг Алонсо Диас работал механиком на верфи. Семнадцатилетний Макс обожал такие походы, потому что Алонсо разрешал ему спускаться в машинное отделение. Моего будущего отца навсегда заворожала сложенная работа машин, заставляющая судно держаться на воде и плыть в любую сторону по воле человека. Он решил стать инженером и после лицея поступил в Политехническую школу в Нанте. Фредерик убедил мать потратить на его образование наследство дедушки Картена. Когда Максимилиан вернулся с престижным дипломом и перед ним открылись двери, о которых семья не могла и мечтать, Амели признала, что это была хорошая инвестиция.

Фредерик немного раскаивался, что раньше почти не уделял внимания младшим брату и сестре. Между ними была большая разница в возрасте, в ранние годы это мешает общению – десять и двадцать не то же самое, что семнадцать и двадцать семь. Редкие ранние воспоминания о старшем брате у младших Декартов превращались в яркие проблески, вспыхивающие в памяти. Отец любил, например, вспоминать единственную за пять лет поездку в Париж, на которую согласилась Амели, чтобы провести сына-студента. Они приехали в конце апреля – чудесное время в Париже – и неделю провели очень весело. Фредерик чувствовал себя волшебником, покупая брату и сестре на улице мороженое и бесчисленные кульки засахаренных каштанов. Он показал им университет, сводил в Лувр и Французскую комедию, выбрав из мальчишеского озорства «Скупого» Мольера (дети хохотали, мать все представление сидела с поджатыми губами), а потом, специально для Амели, влез в расходы и абонировал хорошую ложу в Гранд-Опера. Там давали оперу Глюка «Орфей и Эвридика». Мать, от природы музыкальная, как большинство немцев, осталась очень довольна, хоть и нашла, что в этой опере все-таки слишком много французского легкомыслия. Обедать они ходили в самые дешевые рестораны, но Макс и Лотта все равно пищали от восторга, уплетая пышные омлеты и кофе с печеньем «мадлен». Фредерик уже успел забыть, что его мать заваривала кофейную гущу по несколько раз, а сладости считала ловушкой дьявола.

Теперь старший брат старался возместить им годы, когда они жили в Ла-Рошели практически изгоями. Максимилиан с тех пор был о брате самого высокого мнения. Хотя в зрелые годы они ссорились по-крупному, отец всегда и все ему прощал. Наверное, его верность возникла и окрепла именно тогда, когда Фредерик внезапно стал одним из самых популярных молодых людей в Ла-Рошели и легко, словно играючи, вытащил семью из того состояния, в котором она прозябала после смерти отца. Гугенотская община снова распахнула им свои объятия. Злопамятная Амели вела себя сдержанно, но Фредерик не был свидетелем прошлых обид и ничего не хотел о них знать. В доме стали появляться гости, молодых Декартов начали приглашать на праздники и вечера. Не только Макс, Шарлотта тоже воспрянула духом, и все вдруг увидели, что она миловидная и веселая, не та унылая тень в перешитом платье матери, которая в церкви всегда сидела на дальней скамье и в свои семнадцать лет заранее готовилась к участи старой девы.

Фредерик тоже иногда ходил на эти вечера, и танцевал, и, наверное, не бегал от внимания девушек, но смотрел на все с легкой иронией. Все равно он не планировал оставаться в Ла-Рошели больше, чем на год. Он уже представил в университет свою докторскую диссертацию, которая была принята. В двадцать семь лет Фредерик чувствовал себя слишком взрослым, слишком искушенным, слишком закаленным бедностью и упорным трудом, чтобы сейчас, когда фортуна только-только повернулась к нему благосклонной стороной, расточать время на чепуху. Популярность была приятна, но излишнее внимание к его персоне слегка раздражало. Так или иначе, этот счастливый год на родине, за которым последовала череда других успешных и плодотворных лет, он запомнил навсегда.

Летом Фредерик уволился из лицея и уехал в Париж – разрабатывать курс, который ему предстояло читать в Королевском Коллеже (тогда он еще не назывался Коллеж де Франс⁷) с нового учебного года. В августе 1861 года он защитил докторскую диссертацию на своем материале о реформации и контрреформации в юго-западных и центральных областях Франции и в 28 лет стал доктором филологии и профессором – исполнение его студенческой мечты пришлось отложить всего на три года. В Коллеж де Франс он проработал до известных военных и революционных событий, о которых я, конечно, в свое время расскажу.

Это как раз были годы, когда Фредерик Декарт написал книги, объявленные позже классическими: «Историю Реформации во Франции», «Историю Фронды⁸», «Повседневную жизнь во времена Генриха IV», «Старый порядок и новое время». В Коллеж де Франс он пользовался большим авторитетом, хоть и не был так популярен, как Жюль Мишле, властитель дум предыдущего поколения. Его идеи были несвоевременны, парадоксальны, раздражали тем, что заставляли сомневаться в вещах, в те годы не подлежащих сомнению. За «развенчание Великой революции» его освистала тогдашняя прогрессивная научная общественность (в восьмидесятые годы за то же самое он чуть не был избран в Академию). Профессор Декарт мало обращал внимания на околону научную суету – он просто жил и думал так, как считал нужным.

...Почему-то труднее всего мне представить его именно в эти годы. Мое воображение легко рисует его мальчиком, юношей, парижским студентом, молодым учителем в провинции. Но вот это его первое десятилетие в Коллеж де Франс остается для меня загадкой. Я, простой заурядный человек, для которого семья всегда была на первом месте, не могу до конца осознать и поверить, что годы от двадцати восьми до тридцати восьми, самый расцвет жизни, у него были заполнены почти исключительно работой. Можно предположить, что он торопился сделать как можно больше, с запасом, как будто знал, что «золотые шестидесятые» сменят «ужасные семидесятые». Но этот тезис хорош для «героической» биографии профессора Декарта. Если не задаваться целью переписать Шомелена и Берто, впору подумать – что еще было у него, кроме лекций, архивов, библиотек, рукописей? Что приносило ему чувство радости и полноты жизни? Ведь он был еще совсем молод. Жалею, что в свое время я подробнее его об этом не расспросил.

Наверное, его честолюбие наконец было удовлетворено. Он стал свободным, уважаемым человеком, более того, обеспеченным человеком, насколько это позволяло профессорское жалованье. Профессор Декарт снял просторную двухкомнатную квартиру на Левом берегу, недалеко от Коллежа, и обставил ее по своему вкусу: удобная, тщательно выбранная мебель, много света и воздуха (он всю жизнь любил высокие окна и потолки), много книг. Преподаватели Коллежа время от времени приглашали друг друга к себе домой на «суаре», чтобы за бокалом вина поговорить о чем-нибудь, кроме учебных курсов и студентов, или поиграть в карты. Профессор Декарт от этой обязанности тоже не уклонялся и даже научился играть в модный тогда винт – для него это была не такая большая жертва за то, чтобы чувствовать себя на равной ноге с коллегами. Но на светскую жизнь, как и раньше, много времени не тратил. Гораздо более важным он считал свое попечительство над одной из «народных школ» в предместье Парижа. Там он раз в неделю бесплатно вел уроки, и относился к этим обязанностям очень серьезно – всегда помнил о своих мальчиках в Морьяке, которым преподавал когда-то историю Франции.

Что еще я забыл? Главным интересом, как и прежде, оставалась наука. Поле его исследований была в те годы вся Франция, и он собрал для своей «Истории Реформации» невероятное количество данных, посетил множество архивов в разных частях страны. И помимо этой темы у него было столько идей, что времени не хватало перенести все на бумагу. Перед самой войной он провел год в Германии – вел исследования и читал лекции как приглашенный про-

фессор в Гейдельберге. Конечно, нашел время выбраться и к своим родственникам, в первую очередь к кузену Эберхарду в Потсдам.

Ему шел четвертый десяток. Он все еще был один и не собирался в ближайшие годы менять свое гражданское состояние. Необременительные и скоротечные романы у него были – всего два или три за десять лет. Мне с трудом в это верится, но когда уже в начале нашего века он немного рассказывал о своей жизни в шестидесятые годы, кажется, у него не было причин преуменьшать то, что старые люди обычно норовят преувеличить. Он действительно не придавал большого значения этой стороне жизни и, во всяком случае, до 1866 года, ни в кого не был влюблен. Увлечен – но и только. Дольше всего длилась связь с некоей Эмили Мери. О ней я знаю только то, что она была молодая вдова, очутившаяся после смерти мужа в бедственном положении и ставшая хористкой в Опера Комик. Театр и тогда считался престижным, так что, по-видимому, актриса она была небесталанная. Но и ее он держал на расстоянии, и, когда молодая женщина намекнула, что готова покинуть сцену, если он на ней женится, Фредерик предпочел ее отпустить. Помимо всех других причин, по которым он до сих пор оставался одиноким, в его жизни произошла одна встреча, навсегда лишившая его покоя. В 1866 году его брат Максимилиан, мой будущий отец, окончил Нантскую Политехническую школу, получил диплом инженера и женился на девушке, с которой познакомился в Нанте, – на Клеманс Андрие, моей будущей матери.

Клеманс только что исполнилось восемнадцать, у нее были густые рыжие волосы, щеки, легко загорающиеся румянцем, и смешливые голубые глаза. Копия Элизы Шендельс, не такая утонченная, но более задорная, более живая... До конца жизни Фредерик испытывал к моей матери чувство не только родственной привязанности. И это чувство было взаимным. Я полностью уверен в том, что говорю, но я также знаю, что здесь нет ничего оскорбительного для их памяти.

Амели Декарт не приветствовала женитьбу сына на Клеманс Андрие, дочери простого рабочего-каменщика и к тому же по рождению католичке, хотя она перешла в реформатскую веру и пастор обвенчал ее с моим отцом в часовне Реколетт. Мать «одевалась, как мидинетка»⁹, употребляла просторечные слова и доводила Амели до белого каления своей «плебейской», по мнению той, привычкой обмакивать булочки в горячий шоколад. Свекровь свалила на нее всю тяжелую работу в доме и смотрела на нее как на существо, рангом не выше горничной. Слегка подобрела она лишь после рождения внука – моего брата Бертрана. Мать была хоть и женщина необразованная, но чуткая и гордая, жаловаться не хотела и ночами плакала в подушку. Отец ей совершенно не помогал, он вообще ничего вокруг не замечал. Он сразу же нашел хорошее место на судовой верфи, выдвинулся в члены административного совета и отдавал работе все свое время. Защищал Клеми только Фредерик.

В те годы он довольно часто бывал в родном городе. Амели при нем затихала: теперь она побаивалась своего сына-профессора. Клеми сначала робела и дичилась, но скоро привыкла к тому, что Фредерик держал себя с ней как с благородной дамой – открывал перед ней двери, вставал, когда она входила. Стоило ему один раз увидеть у нее в руках ведро с углем, как он тут же нанял служанку и попытался оставить Максимилиану деньги для выплаты жалованья этой служанке, чтобы мать не вздумала ее рассчитать, когда он уедет, и опять взвалить обязанности таскать воду и уголь на Клеми. Отец, конечно, вспыхнул, заявил, что в состоянии сам оплачивать прислугу. Так или иначе, тяжелой работой Клеми больше никто не нагружал.

Фредерик всегда вовлекал ее в общий разговор и подчеркнуто уважительно выслушивал ее мнение, никогда не перебивал сам и не позволял перебивать другим. Вскоре уже никто не отваживался в его присутствии высмеивать манеру Клеми одеваться или ее речь. Другие заговаривали с ней лишь на хозяйственные темы, а он расспрашивал ее о детстве в Нанте, о школе, заставлял вспомнить книги, которые она когда-то читала. Ее ошибки в речи он поправ-

лял мягко, почти незаметно, но так, что она сразу все понимала. Он привозил ей из Парижа новые книги, сначала выбирая попроще. Благодаря чтению вкус ее развился, она полюбила стихи, стала читать классические и современные романы, заговорила с мужем о том, не начать ли ей брать уроки музыки. Всего за год она превратилась в такую жену, которую молодому инженеру не стыдно было показать в обществе. И для бабушки Амели, и для Шарлотты, и даже для Максимилиана оказалось сюрпризом, что Клеми не глупа и не так уж проста.

В занятиях и разговорах Фредерик и Клеми проводили много времени наедине. Обмениваясь милыми воспоминаниями детства и юности, вместе смеясь над какими-нибудь домашними происшествиями, они оба, разумеется, ловили себя на том, что общество друг друга им приятно. Но профессор Декарт все время был настороже. Он держался с ней только как учитель, доброжелательно, заинтересованно и при этом корректно до предела. Ни разу он не позволил встать между ними неловкому слову или еще более неловкой паузе. Он предпочел бы лучше умереть, чем показать, что его интерес к Клеми, жене его брата, женщине вдвойне запретной и неприкосновенной, чем просто чужая жена, – не совсем уж невинный и беспольный.

Клеми, конечно, в полной мере испытала влияние его незаурядной личности. Я думаю, она спрашивала себя, почему брат ее мужа, доктор наук и профессор, человек, стоящий по сравнению с ней на недостижимой высоте, тратит на нее столько времени. Она была натурой неиспорченной (так же как и Фредерик) и верила в его искреннее желание ей помочь (как это и было на самом деле), однако чувствовала, что, когда они остаются в комнате одни, в воздухе появляется предгрозовое напряжение. Мысли становятся яснее, слух и зрение острее, глаза блестят, по коже пробегает волнующий холодок, – ох, неспроста! Клеми, конечно, только ощущала это, разумом догадывалась смутно. Она не смела допустить и мысли, что ее учитель, друг, родственник и лучший за всю ее жизнь собеседник может быть в нее влюблен. Фредерик и сам не сразу догадался. Зато когда понял – резко, на грани невежливости отстранился («Если левый глаз тебя соблазняет, вырви его...»), ограничил свои визиты в Ла-Рошель Рождеством и Пасхой, а потом вообще уехал на год в Германию.

Через год после свадьбы мой отец наконец-то заметил, на каком положении в доме находится Клеми, и ему стало стыдно, что он так долго позволял сестре и матери унижать свою жену. Черная полоса для нее закончилась. Она не забыла Фредерика, но у нее появились другие заботы. В 1868 году родился Бертран. А в 1870-м началась франко-прусская война. Вся наша семья пострадала от нее, однако для профессора Декарта эта война обернулась трагедией.

Страшный год

Я подхожу к самой мрачной странице его жизни. Гражданин Франции по рождению, но немец по крови, он не сразу воспринял франко-прусскую войну как свою личную катастрофу. Когда армия Наполеона III выступила за Рейн, он только что вернулся из Гейдельберга и скорее уж сочувствовал немцам, по чьей земле теперь шагали чужие войска. Патриотический подъем, царящий вокруг, оставил его в недоумении. Он не сомневался, что французы скоро будут отброшены к собственной границе, и желал именно такой развязки, причем как можно скорее.

Так уж вышло, что в первой половине жизни он едва ли определенно считал себя немцем или французом. У него было два родных языка. Первым стал немецкий, который связывался в памяти с детством и матерью. Он запомнил его как язык нудных поучений, слащавых песенок, которые пасторша пела своим детям, когда была в хорошем настроении, и брани, которой она осыпала «проклятую Францию», если утром вставала не с той ноги. Впоследствии Фредерик открыл для себя стройный и точный язык философов, возвышенный язык поэтов, однако первое воспоминание о немецком как средстве выражения грубых и примитивных эмоций осталось в его сознании невыводимым пятном. Французский, если вы помните, он как следует выучил только перед поступлением в школу – и сразу принял его умом и сердцем. Все свои книги он написал на французском, хотя для немецких изданий сам сделал авторский перевод.

И тем не менее Фредерик всей душой любил родину предков. Там он чувствовал себя почти как дома. В какой-то степени даже больше, чем дома, потому что в обычной жизни он не отличался общительностью, это всегда стоило ему усилий, а в Германии легко приоткрывался. При его способностях к языкам ни одна особенность местного произношения не представляла для него труда. Он подхватывал их со слуха, непринужденно вступал в беседы с разными людьми, привозил из поездок новые диалектные выражения, пословицы, песни. Помню, в Ла-Рошели он любил напевать одну баденскую песенку, печальную песенку о трех кроваво-красных розах с красивым и замысловатым мотивом, и начиналась она словами: «Jetzt kam i ans Brünnele, trink aber net». Он пытался научить этой песне отца и тетю Шарлотту, чтобы можно было петь вместе за столом, но они, точно такие же немцы, только вскидывали брови: «Что это за странная идея, Фред? Почему мы должны петь эту тарабаршину?»

При этом родился он во Франции, был подданным императора Франции, французами, скорее всего, были его далекие предки. Когда в ходе войны молниеносно наступил перелом и немецкие солдаты ступили на французскую землю, Фредерик посчитал себя обязанным защищать родину. В том числе, если нужно, убивая людей, в которых течет та же кровь, что и в нем самом. Однако не раз и не два он ловил себя на мысли, что в случае успешных наступательных действий французов мог бы отправиться в Германию и там воевать против собственных соотечественников.

Подкрепил бы он свои мысли делом, сопутствуя победа французской армии, я не знаю. Думаю, что вряд ли. Но анализировал он их потом очень долго и подробно, они беспокоили его многие годы. Если хотите знать мое мнение, дело было вот в чем. До 1870 года профессор Декарт не знал разлада между своей немецкой кровью и французской почвой, он был настоящим европейцем и ученым, который смотрел шире государственных границ, а мыслил совсем другими категориями. Не то чтобы понятие «родина» было для него пустым звуком. Не пустым. Но и не самым главным – правда, только до того момента, когда ему пришлось выбирать по-настоящему. Когда военный конфликт двух стран, к каждой из которых он имел отношение, заставил его задуматься, кто он такой и где его место, он нашел единственный приемлемый для себя выход – протестовать против этой войны, ненужной Франции, катастро-

фической для Франции. А после того, как ожидаемая катастрофа произошла, – пойти воевать за Францию.

Едва пруссаки вторглись в Эльзас и Лотарингию, он оставил свою кафедру и пошел на сборный пункт. По возрасту он уже не подлежал мобилизации и даже не умел стрелять – в юности мог бы научиться у приятелей отца, которые били бекасов в Пуатевенских болотах, но к охоте всегда испытывал отвращение. И все-таки, какой безумной ни выглядела эта затея в глазах родственников, друзей и коллег, профессор Декарт не мог поступить иначе. Кстати, хорошее зрение, чудом не испорченное многолетними бдениями над книгами, и твердая рука помогли ему даже в тридцать семь лет очень быстро овладеть стрелковой подготовкой. После двухнедельных учений его определили в корпус – на его счастье, не маршала Мак-Магона, очень скоро сдавшегося при Седане вместе с императором и со всей своей армией, а генерала Винуа. На войне он пробыл несколько месяцев, воевал в Лотарингии, Шампани, на подступах к Парижу, в Бургундии. Война для него закончилась под Орлеаном. В ноябре, перед самой сдачей города, он был тяжело ранен и контужен. Повезло ему, если здесь можно говорить о каком-то везении, в одном – он попал в прифронтовой госпиталь в городе, до которого пруссаки так и не дошли. Потом он смог перебраться оттуда в Ла-Рошель, тоже оставшуюся не оккупированной, и дожидаться там перемирия, которое позволило ему в начале марта вернуться в Париж.

Про обстоятельства, при которых его оглушило взрывной волной, исхлестало осколками и шальной пулей повредило колено, он рассказывать не любил, так что я не смогу об этом написать. На портрете 1880-х годов, который висит в галерее Коллеж де Франс, художник польстил профессору Декарту и замазал шрам у него на шее. Скорее всего, так захотел сам Фредерик. Он не выносил, когда из его участия в войне пытались сделать нечто героическое. Свои военные награды хранил, но не надевал, а если его пытались разговорить на эту тему, односложно отвечал, что просто выполнял свой долг, и любой на его месте поступил бы так же. Малоизвестных людей немного удивляло, как при всегдашнем безразличии к собственной внешности он тщательно заматывал шею платком и натягивал повыше воротник сорочки. С правой стороны у него там был след от глубокой раны, которая едва не разорвала артерию. Первые недели и месяцы ему стоило немалых усилий держать голову прямо. Не так опасно, но по отдаленным последствиям гораздо хуже получилось с раздробленной коленной чашечкой. Кости плохо срослись, поврежденный сустав почти утратил гибкость, и, как врачи ни старались, заметно хромотал профессор Декарт всю оставшуюся жизнь.

К Рождеству он выписался из ла-рошельского госпиталя. Через несколько дней наступил 1871-й, его самый черный год.

Этот новый год он встретил в своем родном доме в Ла-Рошели и прожил там два месяца. Оттуда следил за событиями войны, там узнал о перемирии с пруссаками и об условиях заключения мира. Каждый день, преодолевая боль, разрабатывал свою ногу. Сделал почти невозможное: из госпиталя вышел на костылях, в Париж уехал с тростью. Более длительного отпуска Фредерик не мог себе позволить – в Коллеж де Франс ждали студенты, записавшиеся на его курс новой европейской истории.

Война закончилась чудовищным для Франции мирным договором с многомиллиардной контрибуцией и потерей Эльзаса и Лотарингии. На глазах происходило то, что должно было определить ход истории на много лет вперед. Но анализировать происходящее было некогда. Слишком много событий разворачивалось одновременно. Через несколько дней после возвращения профессора Декарта в Париж власть там захватили федералисты – бойцы национальной гвардии, и объявили город независимой коммуной¹⁰. Многие ученые уехали из Парижа, другие сидели по домам и боялись выходить на улицу. Слушателей на лекциях становилось все меньше. Но профессор Декарт, собранный и быстрый в движениях (несмотря на то, что он

теперь подволакивал ногу), всегда корректно одетый, точный как часы, каждый день поднимался на кафедру и читал о веке Просвещения. Эти лекции в сочетании с красными флагами на улицах, с растущим голодом, с канонадой в предместьях, со страхами парижан его класса и безумными надеждами жителей рабочих кварталов производили фантазмагорическое впечатление. Кому нужен был Вольтер в рушащемся мире? Профессор Декарт был убежден, что нужен всем – хотя бы как хрупкий мостик над морем безумия. Но даже ему порой казалось, что он живет в полусне-полубреду.

Действительность напомнила о себе, когда к профессору Декарту пришел один из министров выборного правительства коммуны Парижа – «делегат просвещения», как называлась эта должность у федералистов. Он принес предложение обсудить план школьной реформы. Профессор Декарт согласился и через несколько дней представил свои замечания на заседании коммуны во дворце Карнавале. Он полностью поддержал проект всеобщего, бесплатного и светского начального образования и внес в него несколько дополнений. На следующий день кучка студентов встретила его громкими аплодисментами, но ни один профессор Коллеж де Франс не подал ему руки.

Этот поступок представляется всем биографам самым странным и нелогичным в цепи других малопонятных событий его жизни. Почему вдруг он стал сотрудничать с нелегитимным правительством, полным опасных людей, горячих голов, новых якобинцев, бланкистов¹¹, анархистов? С правительством, совершенно очевидно обреченным, не имеющим шансов удержаться надолго? Разве его жизни и свободе при коммуне что-то угрожало? Разве мог он разделять коммунистические идеи? По рождению, воспитанию, образу жизни он был далек не только от революционеров, но и от любой сколько-нибудь радикальной оппозиции. А если он это делал не из страха и не по убеждению, то для чего ему понадобилось так рисковать?

Попробую объяснить так, как это вижу я. В годы Второй империи профессор Декарт, подобно многим образованным людям, презирал Наполеона III и считал себя убежденным республиканцем. В политике ему был наиболее близок Леон Гамбетта¹², творец революции 4 сентября¹³. Собственно, Фредерика Декарта смело можно назвать гамбеттистом, это не будет ни преувеличением, ни преуменьшением. С Гамбеттой он лично познакомился в 1880 году, но, конечно, знал все об его самоотверженной борьбе за республику в 1870-е. Мой дядя не разделял предубеждений своего класса по отношению к этому человеку, считал его одним из самых честных и благородных людей своего времени и держал на своем письменном столе его фотографию с автографом; после загадочного самоубийства Гамбетты был в числе тех, кто провожал его в последний путь. Даже когда созданная им партия в конце 1880-х сделала зигзаг вправо, профессор Декарт до последнего исповедовал взгляды, назовем их так, республиканцев «образца 4-го сентября».

К сожалению, республика, провозглашенная после сентябрьской революции, очень скоро лишила общество надежд на демократические перемены. Множество людей почувствовали себя обманутыми, позорный мир и расчленение Франции возмутили весь народ, от простых людей до университетских профессоров... И так же, как Гамбетта после заключения мира в знак протеста сложил с себя полномочия депутата Национального собрания, профессор Декарт встал в оппозицию к этому режиму, как ранее – ко Второй империи.

В книге «Старый порядок и новое время» профессор Декарт выказал себя противником якобинизма во всех его проявлениях. Его потом упрекали в непрозорливости – мол, как же так, знаменитый историк – и не заметил параллелей между Конвентом и коммуной? Наличие таких параллелей он как раз и отрицал. Коммуна Парижа виделась ему вовсе не попыткой установления якобинской диктатуры, а протестом обманутого народа, инициативой снизу, возрождением старинного движения за децентрализацию и права местной власти. Более того, не правительство в Версале, а именно коммуна ему казалась более последовательной защитницей

республики (последующие годы, когда монархия едва не была восстановлена, убеждают меня, что он не заблуждался).

И еще был его опыт, вынесенный из тех лет, когда он был учителем в Морьяке и преподавал историю детям крестьян и лавочников. Он хорошо знал французскую глубинку, потому что в 1860-е годы объехал всю Францию и представлял глубину невежества так называемых простых людей, получивших право голоса еще в 1848-м, а теперь, при республике, становящихся реальной политической силой. Вот где он усматривал опасность радикализации общества – в том, что этот народ так легко обмануть! А вовсе не в том, что министерства возглавили журналисты, бухгалтеры и провинциальные адвокаты. Кое-кого из них профессор Декарт знал еще в 1860-е годы (у него был широкий круг общения) и считал порядочными людьми. Во всяком случае – гораздо порядочнее многих из тех, кто пришел им на смену. Просвещение народа было для него делом настолько важным и неотложным, что он поддержал бы любого, кто заявил о готовности заняться им немедленно.

Сторонником федералистов он не был, дальше проекта начального образования его отношения с ними не заходили, однако, в отличие от своих коллег, он этих людей не боялся и вполне дружески раскланивался на улице со знакомыми из числа тех, кто носил красные шарфы. Когда коммуна взяла в заложники и расстреляла представителей высшего католического духовенства, профессор Декарт осудил насилие, но, конечно, он понимал, что это лишь ответ на версальские убийства. Как выглядит настоящий террор, ему пришлось увидеть уже через несколько дней. Париж был занят правительственными войсками. Началась «кровавая неделя», во время которой на улицах Парижа без суда или по скороспелым приговорам военных судов было убито более 15 тысяч человек. Один из таких судов разместился в Коллеж де Франс, и осужденных выводили на расстрел прямо во двор учебного заведения. Всех «подозрительных», кого не за что было убить без церемоний у ближайшей стены, отправляли в тюрьмы. На профессора Декарта уже донесли бывшие коллеги, и ордер был заготовлен, но арестовали его не в «кровавую неделю», а немного позже. В начале июня он получил сообщение из Ла-Рошели – там умерла Амели Шендельс-Декарт.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.